



На сегодняшний день Владимир Личутин – это самый самобытный и самый национальный русский писатель. Может быть, последний хранитель древнего русского духа и слова. Думаю, Юрий Кузнецов был последним русским национальным поэтом, Владимир Личутин – последний прозаиком.

Будут и новые русские гении, уже есть, но это уже писатели иной России, иного слова, иного Духа.

Пусть он по жизни уже вроде бы глуховатый старичок, “дедушко Личутко”, как его по-доброму ласково называл Захар Прилепин, но по литературе своей, по своему слову – он такой же задорный, даже задистый, боевой, и напористый писатель. Новый роман, который он сейчас заканчивает – явное чудо подтверждение. Этому неуемному романтисту никак не дашь семьдесят пять лет. Так что писателя мы и поздравляем

Глава из романа “Наваждение”

На мосту Рахманин сбросил намокший холщевый кабат, стянул у порога сапожки, пятернёю распушил бороду и усы. Не хотел показываться перед женою в диком виде. Царь дождался, поперёд батьки в пекло не лез, ведь шёл в чужой дом, а как там встретят – ещё загадка. Могут напугаться и с рогом под подушки. А тут зятелько в гости, с чего есть что взять? не мясца, так пуха на шляпу...

Братцы мои, время-то какое океанное настало! – ни отщипнуть, ни отрезать, так в рот и смотрят, как бы не зачалил гость лишнего с блюда; от пристального взгляда можно куском подавиться.

У всех недостаток на столе, как в войну; вроде бы и забылось с годами лихоletье, и вдруг накатили лишения в самое мирное время. Откуда-то взялась внезапная бедность и пополнила Русь от края и до края, и потому редко кто насмелится ныне без приглашения в гости. И в подоконке не постучится жалобно “Христа ради”, уже позабыли как по кусочку с зобёнойкой бродить по деревне и тянуть со слезою в голосе: “И кто нас накормит-напит, и кто нас теплом обогреет...”

И в сени не натягивало из кухни мясными щами, но пахло постным, кисловатым, пыльным, чем-то старческим шибало в нос из ближайшего шкафа, где хранился, видимо, убогий съедомый припасец. Неужели и Пиросмани по бедности (или по старости) обходится сухой ржаной корочкой, размоленной в кипятке? Да быть того не может. Царь даже слегка приулы, раскис, топтался позади Рахманина, дожидаясь, когда дружок расправится с мокрой одеждоной.

Рахманин, наконец-то, потянул за скобу, дверь со скрипом, лениво подалась – наверное, разбухла от осенних дождей. Царю стало невмочь, душно сердцу, и он, нетерпеливо отиснув приятеля, шагнул в жарко отопленную избу, скользя взглядом по пустынному столу, наверное, ожидал увидеть празднично накрытую “полянчу”, и сразу сник, бегло озирая дом, стараясь мысленно проникнуть в каждую укромину, где бы укрывалось любимое угощенье. Рахманин, забыв закрыть дверь, застыл у порога, отыскал взглядом красный угол, твердо щелкая перстами, осенился крестом, возгласил:

– Мира дому сему и здравия всем ныне и присно и во веки веков!

“Опа-на, по-церковному крутит”, – воскликнул при себе Царь, недоверчиво косясь на Рахманина. – Понахвтался словечек... Прежде за ним подобных приговорков не водилось. Вот и другана коснулась революция умов”.

– И тебе не кашлять, зятёк – с усмешкою в голосе отозвался хозяин. Пиросмани сутулился у печи и ковырял резцом осиновую бабкушу. Смахнул с кожного фартука древесную труху, но не поднялся навстречу гостям и “ручкаться” не стал. – Дверь-то прикрой. Не лето на дворе...

Рахманин послушно притянул дверь, щепные птицы под потолком колыхнулись от сквозняка, поплыли хороводом, таща по столешне беззвучные тени. Такие же тени отразились в тёмных заводках окон, грудно напирая на стёкла, стараясь бесшумно проникнуть через невидимые коварные перергады в обжитую избу, где так вольно кружилась лебединая стая.

– Чего колупаешь, Иван Иванович?

– Птиц опристал резать... Надоело. Хотя мой товар везде просят, только дай-подай. Хоть в Африке тебе, хоть в Китае с руками оторвут. Правда, платить жалются. Вот дикое время настало, кругом одни скупердяи. Всё драм хотят. А где душа? Разве такое прежде было, Ю-ра-а!? – вослапал Пиросмани, опустил бабкушу к опечку, перешёл, по-стариковски отключив зад, к столу, с кряхтеньем опустился на табурет, ленивым движением смахнул невидимые крошки на пол. Заметно сдал хозяин, и его прибила жизнь в последние годы; усох, завялился, вот и штаншоники болтаются на мясах, как застиранная занавеска, и валяные калишки с ширканьем волочатся по полу, норовят убежать с ноги. Пропал обычный задор, лицо будто присыпано мукою, как у мельника, выцветшее, белёсое, борода неряшливо изредкалась, посеклась, лишь отросшие брови щетинятся над зоркими круглыми глазами, призатеная наивный взгляд, да непокорный волос, сседа, торчком.

...Ох-ма, эти несуетные жернова всех перетрут и сыплют в перемётные сумы вечности, откуда нет исходу. Мелют и мелют...

– Садитесь, коли пришли... Чего торчать в дверях... В ногах правды нет, – сухо, почти враждебно пригласил Пиросмани, и Царь, не дожидаясь второго приглашения, прошёл в передний угол, оседлал лавку. – Туесьё крутить – силу надо и ноги, как у лоса, чтобы бегать по сузёмкам. И вот решил сваять кощья Якунина в ступе, и бабу-ягу Новодворскую на метле. Слыхали-нет на Москве про этих чертей? Посмотрим, как дело на рынке пойдёт...

– Ведьма! – отрезал Царь. – Не она ли у тебя нынче в гостях побывала?

– Откуда знаешь?

– Своими глазами видел. В твою трубу ныр... Может, Иваныч, ты с нею то? – Помолчал бы, трепло! Уж плакать пора, а ты всё над людьми смеёшься, – оборвал Пиросмани. – Через твой язык на деревне мою фамилию уже забыли... А ты, Юрий Михайлович, чего скажешь? Язык в роте прилип?

– Что-то Дашки не вижу...

– Дашка твоя ты-то... Уфырнула. Дай, говорит, ружьё, поеду гадов стрелять. – Пиросмани странно так подмигнул Царю и дёрнулся головою куда-то влево и назад, будто отгонял от плеча бесов. Но никто за хозяином не маячил, там на стене “гоняли балду” деревянные ходики, через каждые пять минут стукали дверцы, молча выпархивала кукушка и жадно разевала клюв.

Царя била ледяная дрожь, озноб из бровиных подкатывал к горлу, в волосах ползали жадные мураши, казалось, насквозь прокусывали кожу. Он с трудом пересиливал дурноту, прислушивался к разговору. Рахманин перекачивал скулы, старался понять, шутит ли тесть, или говорит правду.

– В магазин кто ли ушла?

– Да нет... Приезжал в деревню из столицы Бергман или Бровман. Говорит, немец. Думаю,

с такой солидной датой не будем, молод еще. Пусть продолжит свою чувственную “Реку любви” наш северный русский Боккаччо. Пусть книги

Тайновиде

пишет. А вот нашего старого друга, нашего сотоварица и даже общего бражника Володю Личутину обязательно поздравим с настигшим его юбилеем.

13 марта Владимир Владимирович Личутину исполнилось 75 лет. Хоть и подзабыли его на родном архангельском Севере, даже в губернаторском плане памятных и юбилейных дат есть, к примеру 50-летие ссылки в деревню Норенская поэта Иосифа Бродского и его 75-летие в мае 2015 года, но про коренного помора, одного годка поэту, Владимиру Личутину – ни слова. На

что яврей. Собирал старые песни. И я, дурак, пел, старался, думал заплакать... Да хер там. Они копейку считать умеют... Потом отправились по измам, и где-то стакнулись... Юра, Юра, профукал бабу.

И давню?

Пиросмани задумался, потом стал считать, загибая пальцы.

– С утра на пятый день пошло. Моя-то дура, бывало такочи же. Сбежалась с Электроном Андреевичем, под мышку коверь хватъ – и на самолёт. В голове ветер, в норке дыма. Теперь звонит, назад просится, а я ей дулю. Говорю: не вздумай приезжать, башку отсажу.

– Так и сказал? – для виду усомнился Царь, чтобы встрять в разговор и сбить в нужное русло... И просить рюмку стыдно, не бомж

"Два мира - два Шапира" Владимир ЛИЧУТИН

ведь, не рвань какая подзаборная, но и ждать – мочи нет. Коля выразительно мазнул пальцем по кадцы, Пиросмани ответно подмигнул, как заговорщик.

– Ну... Чтобы я да кормил старую профурсетку? Пусть лучше задавится, кикмира. – Пиросмани расшумелся, заёрзал костявыми задом по табуретке, с кривой злорадной усмешкой торжествующе считывая с лица Рахманина неприкрытое горе. – Не переживай, Юрий Михайлович. Прибегнет, куда денется. Мужики-то для баб, как липучка для мух, ага. Известное дело. Побегаёт и вернётся. Но скажу тебе, Юра: хоть и дочи она мне, но дай ей отлуп, и чтоб навсегда. Не моей Дашка крови, какая-то от всех девок отменятая. Как есть нагулянная, волчьей породы. Кубышка, будто мотомыи сбита.

Царь снова напомнил о себе, воровски мазнул пальцем по кадцы. Пиросмани опамтовался, бросил загибать калачи, вить словесную канитель, устремился к запечку, тащит в охапке старинную бутылъ тёмного стекла, водрузил на стол.

– Рюмки, рюмки не забудь, – напомнил Царь. – А лучше стаканы. Чтoб сразу вмазать...

– Первачок-свежачок... Вчерась коровка надоила... – бормотал Пиросмани, поглаживая бутылку, как бедро дородной жаркой девки, прокручивал в уме, что подать закуской на стол. Гости, конечно, не званые, не ко времени принесло, но, опять же, если не угостить, дурная слава пойдёт, напьются мужики и худых делов натворят. – Хорошая коровка, ни сена ей не натъ, ни поила, ни стоила... Подпустил огонька – и писает: кап-кап... Юрий Михайлович, зятёк дорогой, чего ты мямлешь у порога, половицы считаешь, как не свой. Наплюнь на жену с высокой вышки, другую найдём. Мужик ты дородный, рылом вышел баской, – напевал Пиросмани, подмигивая Царю. – Разве на Руси мало баб? Да хоть и в нашей деревне взяты. За кусок хлеба любая даст, только помани. Вон, в соседях бабка Чекалкина одна живёт, пусть и на девятом десятке, но будет шти варить, портки стирать. Куда с добром, чего ещё натъ?

Рахманин присел к столу, набывчившись угрюмо наблюдал, как Царь Николай с натугою, дрожжащими руками наполняет стопки, боясь промахнутья и пролить молоко. Надо было сразу уйти, да вот замешкался, прозевал время и сейчас придётся объясняться, чего-то мямлеть, открывать душу, куда впускать никого не хотелось. Боже мой, влустую время-то уходит, протекает сквозь пальцы. Хозяин метался по избе, хлопал дверцами шкафов и наблюдников, но на столе закусок не прибывало.

– Садись давай, Иваныч... Хватит тебе соלותиться, – торопил Царь.

– А закусить? Скажете потом, де Иван Иванович голодом вас заморил.

– Не жрать пришли. – Царь понохал из рюмки, капли размазал по усам. – Дух-то какой. Мёртвого из могилы подымет. – Первачок... Без закуски никак... Какая была скотинка, так всю пустил под нож. Бывало шти из баранинки ели... А селянка, а саламата, а жарково? Помнишь, Коля? А из лесу сохатинка... Опять же кабачники, заплещ, сала с локотъ. Зернцом кормил, молочком выпайвал. Всё натуральное, полезное, без химии... Золотое было время. Советское, – вздохнул Пиросмани, замер возле печуры, вдруг забыл старик, куда пошёл.

– Закусывать, только добро зря переводить. Я, пожалуй, и выпью. – Царь, не дожидаясь компании, в одиночестве принял на грудь стакашек, поцеловал в доньшко, занюхал рукавом засаленной толстовки. – Беги родничок да по закоулочкам. Прочищай кишочки сыну да дочке.

– Пей, пей, золотой... Смотри, чтоб не встал колом.

Пиросмани сбродил в сени, принёс ладку с печёной рыбой, подлил водки из самовара. – Вёшная щучка-то... Правда, теплом тронуло. С запашком, но пользителна.

Этой рыбки каждый хочет. Так на северах, какжись, говорят.

Царь, манерно оттопырив палец, принял вторую, утёр губы рукавом. Рахманин придвинул стопку, понохал и безрзливо сморщился.

– Как только пьёшь такую гадость?... И ты, Иван Иванович, вроде бы при Боге живёшь, а как нехристь, – поучал Рахманин тестя. – Открыл шинок, спаиваешь добрых людей... А если в милицию заявят. Насчёт этого нынче строго.

– Кого я спаиваю, кого? Насильно в глотку вливаю? Вино – это же кровь Христова. Причастился – как снова на свет народился. Такую оно силу природную имеет. Кабыть умер и снова на свет, – оправдывался Пиросмани, но взгляд его засуетился. Боже милостивый, так мир скурвился, – переживал мужик, – что везде нужны вострый глаз да чуткое ухо, чтобы не опростоволоситься. Живёшь нынче, кабыть, вольно, никаких тебе принудработ, да вот при закрытых дверях. Раньше жили кучкой, запоров не знали, а теперь врозь, но при замках и овчарках.

– Так то вино... Рейнское, романея, гагорчик, там. Сладенький, как поцелуй Христа. А тут моча из нужника, – и больше ничего.

– Помолчал бы, безбожник. Не сатане ли церкву-то ставишь? Хулишь напрапалу.

– В Дедка вашего бородатого не верю, но Христу поклоняюсь. Христос – живой человек,

мой-то взгляд, не худо бы и личутинские чтения в Архангельске устроить, и улицу назвать его именем. Больше-то никого из знаменитых рус-

К 75-летию Владимира Личутина

ских писателей на Севере сейчас не осталось. Но как говорят: нет пророков в своем отечестве. Да и помнят все личутинские колючки в адрес чиновников. Видно, недолюбливают северного правдолюбца.

И подолом, нечего правду описывать, колкости чиновникам говорить. Не умеешь угодничать властям, не жди и орденов.

Впрочем, это все от лукавого. Главное, проза его глубинная, памятливая, совестливая – на века.

Как всегда, он и сегодня борется за правду со а Дедко ваш придуманный, из ума рисованный... В мою церковь, дуралей, придут только избранные.

– Ага, избранные, кого на аркане силком заставишь. – Пиросмани снова подмигнул Царю и кивнул на стену, где гулькали старинные часы, хлопало оконце, и постоянно выныривала востронская молчаливая кукушка, выглядывая своих потерянных дитёшей; как подавалась колосом, блудная, ещё в прошлое лето, да с той поры и потеряла голос.

Царь ничего особого за спиной хозяина не разглядел, принял очередной стопарь, совсем отогрелся, сердце его расплосилось, глаза распахнулись и сейчас, потеребивая бородку, со слезливой любовью он озирает застолье, равнодушно пропуская спор мимо ушей... Пусть

наговорятся, а перемены-то коренной в стране всё одно не будет, пока из низов не явится дерзкий человек с наганом и не объявит властно: “А ну, которые тут временные, – слазь!”. В Кремль вломились хазары новых времён, люди хваткие, страстные до денег, но церковь без укоризны и поносного слова принимала волков в овчей шкуре, не гнала их поганой метлой из храма, но величила шинкарей, отмечала орденами за богатые посулы. Золотой идол переселил совесть, Сатана поклонил под себя Бога, и несчастный Христос в ужасе сбежал под покров своей Матери, чтобы не видеть всеобщего распада, превращения человека в скотину. Как легко сронить народ в пропасть, да трудно вызволить.

Пиросмани долго тянул, что-то выгадывал, или кого-то дожидался, наконец причастился рюмкою, с куском хлеба торопливо полез в ладку. Царь поширал глазами вилку, не нашёлazole локтя и, потрепав в пальцах ломотёк, позабыв прежнюю безразгилье, потянулся за рыбым пером со своего конца. Рахманин, давно опростившийся в деревне, обмакнул в подливке горбушку и стал задумчиво жевать, шаря взглядом по избе. Что-то явно не давало ему спокойно трапезовать.

– Ой, хороша помаковочка... Вы ешьте, ребята, тяните рыбки-то, – пропел Пиросмани, деловито обсасывая косточку. – Вот, сколько живу на свете, а слаже вёшной щуки ничего не едал. Мясо не приторковало, не лнётся к зубам и брюхо не пучит... Со двора свёл овчущих, дак Господь послал щучек. Всякому по трудам его, по его жизни.

Лицо хозяина порозовело, прираспустилось, опока присосыпалась со щёк и скул – значит, самогонка пошла впрок, прожгла насквозь.

Ладное питьё придумал русский мужик, здоровое, по климату, чтобы не вгоняло в тоску, но давало розжигу, да власти всё чего-то на него косятся, зуб точат, грозят статьёй, абы штрафом...

А-а! знает кошка, чьё мясо съела; ведь от каждой рюмки самогона, выпитой на деревне самоволкою, без надзора начальника, прямой убыток казне; вот и сутурится ларёшник, пересчитывая казённые бутылки на прилавке. Пиросмани подобрел, ему уже было ничего не жалъ. Царь разжидился, хотелось обнимать народишко и плакать в жилетку.

И только Рахманин темнел, мглился лицом, рылся в уме, сочиняя строптивой Дашке казнь. Мял в пальцах ржаной мякиш, будто катал пулю, чтобы загнать в стол.

Царь подсмотрел за приятелем, поймал его горькое растерянное чувство и в лад ему в голову невольню пролилось с какой-то прощальной тоскою: “А для меня кусок свинца, он в тело белое воплётся...”.

Но увидев схожие грубые руки в царापыхах, мзольях и заусенцах, удивившись своему внезапному открытию, Царь вдруг сказал:

– Надо же, труд уравниал всех: и рыбаля, и художника, и писателя.

Вытер ладонь о штанину и с необычным любопытством, словно впервые видел, осмотрел пальцы на правой руке, кривоватые, с опухшими козунками, с чёрной каймой под отросшими ногтями, с присохшим рыбым мясом и клёцком, – и повторил:

– Труд уравниал всех...

Рахманин недоуменно пожал плечами, насколько не отмякши от внутреннего напряжения.

– И Христос был рыбаком, – добавил Пиросмани. – Уж какую рыбку ловил, того не знаю. Но всем, однако, пришлась по вкусу. Если столько людей привадил к промыслу. Не та бы Христова рыбка, так все бы на свете давно перемерли, или жили, как чумички, испаньками де самого нутра. Так – нет, Колюшка? – впервые с отцовской теплотою обратился хозяин к Царю.

– Не знаю, батюко, – хмелно протянул Николай. – Не знаю, какой там был ваш Христос, но плеснуть на каменку надо. – Царь наполнил посуду, прищурив левый глаз, посмотрел на Пиросмани сквозь стекло, увидел лынуую гриву, рысы глаза из-под щетины бровей, засмеялся, задора пировничок. – Историки пишут, де жил в древности такой мужичок в Иудее, вроде тебя, Иваныч, хотел сделать революцию, объявил себя царём, потом евреи его схватили и распяли на кресте. Друзья вытащили из могилы и спрятали. И до сих пор его ищут. В Тибете, в Индии, в Гималаях... Такая вот простая история.

– Всё дразнишься?

– Дразнюсь, – согласился Царь. – Все давно, а вы ещё только... – добавил с туманным намёком

– А зря... Пороли тебя мало. Зачем искать то, что не теряется. Это же сам Христос! – возразил Пиросмани. – Вознёсся он на папартах. Крыла тут обьявлялись, невидимыи бысть... Призвал Его Бог под своё начало к Сыну в помощь.

– Тут, старичок, ты не прав... Ну и что? Бывает и так, что лежит нужное перед глазами, все возле крутится, а не видит.

– Очки надень, если слепой. Пим дыривый. За Христа люди жизнь отдавали, – вдруг поддал голос Рахманин. Оказывается, не дремал человек, всё слышал сквозь закупоренные печальным известием уши. – Христа нельзя похоронить, хоть на сто сажен вглубь зарой. Как нельзя закопать мечту о счастье, которое, быть может, никто на свете и не знал.

Рахманин подвинул к себе стакашек, долго

всеми властями, страдает за свой народ, горяч и порывист, как в юности. Словом, есть ещё порох в пороховницах. Не отсырела поморская сила рода Личутиных. И славен он как истинный кудесник русского слова не только по всему Северу, но по всей России. Его знаменитые “Раскол” и “Скитальцы”, “Миледи Ротман” и “Беглец из Рая” прочно вошли в русскую классику XX века.

Ещё по рассказам Бориса Шергина узнали мы, сколь “красовито” говаривали мезенские охотники и рыбаки Личутины. И по сю пору стоит на северном море остров Личутина.

Ломоносов писал, что приглашался Яков Личутин из Мезени кормщиком в первую русскую экспедицию адмирала Чичагова. Все Личутины были добытчики, промысловики. Ценили красоту. Украшали избы резьбой, прялки расписывали, бабы одежды праздничные чудными узорами покрывали. Ходили по северным деревням в

всматривался в его мутную глубину, выискивая там подвоха, но решился и выпил. И крикнул.

– Всяк выпьет, да не всяк крикнет! Юрий Михайлович, зятёк! – вскричал Пиросмани. – Дай, я тебя расцелую за Отца нашего Иисуса Христа... Прости меня океанного, что Дашку, такую дуру, тебе подсуропил. Сделана, оказалось, по чужом лекалу. – Тесть сделал мокрые губы дудочкой, потянулся к зятю, норовя ткнуться в щёку.

– А вот этого не надо, – Рахманин решительно отстранил свояка рукою, загоролдился локтем.

– Ну и хорошо, ну и ладно, – добродушно согласился хозяин, полез щепотью в ладку за рыбой, которую, быть может, ловил сам Иисус,

и вот щучка оказалась в глухом сузёмке на столе у доброго человека, который неколебимо верует в живого Бога. Если беззаветно, до сердцевины души любить Его, то Он обязательно явится с помощью в нужный час. Пиросмани на себе знает силу Христа, его доброе сердце; ведь сколько раз уже попадал в беду, и смерть не однажды скрадывала в пять, чтобы забрить косою, но всякий раз Христос выручал.

– Дашка-то чего велела передать? – глухо спросил Рахманин, боясь узнать подробности, но сердцем верил, что всё обойдётся, всё будет хорошо.

Пиросмани порскнул по лицу зятя светлыми газетками, но ухмылку спрятал в отвислых усах:

– Да, кабыть, ничего такого... Всё бежки да спешки... Прихватила под ручку этого Фраера-



мана, да и к автобусу на рысках.

– Ты говорил, какого-то Блумберга или Бровмана... Теперь уже Фраерман, – допытывался Рахманин, чувствуя себя в глупом положении. Думал, подпирая скулу ладонью: если сбежала, то и чёрт с ней, кобылой, только чтобы насосемем, чтобы духу её не было. Как пристала случайно, так внезапно бы и отлипла. Только чтобы не теребила после, не хватала за портки, прими, мол, назад. Дескать, дура была, лукавый поманул... – Иван Иванович, может, записку оставила?

– Надо было бабе сразу брюхо стяпать, – грубо сказал Пиросмани. – А ты в небе звёзды считал да точку искал... А Гринберг тот быстро сообразил. У него не заржавеет. Для кого кутачок за пятачок, а у него золотая денежка. Ведь сроки-то у бабы все выйдут, дак куда годна? Только шлепать по заднице... – Врал напрапалу Пиросмани.

– Какие сроки? Чего плетёшь? Ишь уж ума выпал?

– И ничего не выпал... Еврей старым умом живёт, не нам чета. Он за бабой, как нитка за иглой. Дух-то её за сто вёрст чует, как лёс стретовой.

– Два мира – два Шапира, – вставил своё слово Царь. Ему вдруг пришла на память старая история и захотелось немедленно выполнить её, пока не стёрлась в подлитии. Мысль, как яйцо, надо сразу хватать на перо, пока не протухла, или не стёрлась в голове. Только выпало из родильницы, тут же налетает ревнивые несущих, живо примут за своё, раздавят и раскуют...

Царь задумался, как бы ловчее спелить историю. В голове-то вроде бы всё ладно, а как начнёшь рассказывать, слова липнут то к нёбу, то к языку, виснут на губе вожжами, как сопли на морозе. Особенно, когда изрядно под хмельком, когда самогонные пары источаются из каждой продушины. И вдруг подумал, что история, случившаяся с ним, не простая, а со смыслом, загадочная какая-то, право, мистическая, написанная под диктовку небес... Когда учился в техникуме, снимали в пригородке житьишко на четверых. Конура пеналом, в одно окно, выходящее в огород, в комнату влезало лишь две полуторных койки. Кольке выпало по судьбе спать в одной кровати с “дембелем” по фамилии Шапиро; рыжий веснушчатый парень, щёки и лоб изрыты оспою, но крючком, курчавый волос. Ну и что, если мамка таким родила? Не с лица воду пить, а еврейский вопрос не был на слуху. Дескать, есть такое чудное племя, где-то невидимо обитает оно, и в то же время не живёт нигде. Необъяснимый фантом, призрак, припевка и прибаутка для связки речи: “Если в кране нет воды, значит, выпили жиidy...”.

Считалось тогда на Руси, де все люди – братья, всех надо любить... Так, будто бы, сам Господь научал. Хотя, о Боге ничего толком не знали, в единственную в городе церковь не заходили, святых писаний не читали, ничего в православной вере не смыслили, на мужика в рясе оглядывались с усмешкою, но само ощущение Христа было неразлучно с человеком, помещалось где-то внутри, под сердцем, занимающая там подобающее место с самого рождения, и, зная, только поджидала случая, чтобы Господь однажды напомнил о себе, больно ворхнулся в груди, и, по-хозяйки растопыря локти, зычно объявил: “Сын мой, Я здесь!.. Сколь-

ту пору талантливые мужики, рассказывавшие быльины, баллады.

Владимир Личутин тоже странник по духу, преобразующий в литературный мир вскрывшее его народное знание. Поморский прозаик творит изумительные по красоте и духовности образы, создаёт классическую трилогию “Раскол”, посвящённую великой смуте в России. Иные книжные эстеты разводят руками: откуда у Личутина такое тончайшее знание подробностей духовной жизни протопопа Аввакума и Патриарха Никона?

У каждой его книги своя мелодия, своя северная музыкальная нота. Музыка слова и образа ему дана свыше, но оркестровку он ведёт своим, огранивая стихийное музыкальное раздолье.

Владимир БОНДАРЕНКО

(Полностью статья на нашем сайте denlit.ru)